

БИБЛИОТЕКА

ISSN0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 41 1991

Белла АХМАДУЛИНА

ПОБЕРЕЖЬЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 41

Издается с января 1925 года

Белла АХМАДУЛИНА

ПОБЕРЕЖЬЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Москва. 1991

Белла АХМАДУЛИНА

Белла Ахатовна Ахмадулина родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького.

В 1962 году вышла первая книга стихотворений Беллы Ахмадулиной «Струна». В последующие годы изданы поэтические сборники «Уроки музыки», «Стихи», «Метель», «Свеча», «Тайна», «Сны о Грузии» и другие. Дважды выходило «Избранное». Книга стихотворений «Сад» отмечена Государственной премией СССР.

Белла Ахмадулина перевела многие стихи поэтов Грузии, Армении, славянских народов, Венгрии, других стран. Лирическая проза Ахмадулиной посвящена Пушкину, Лермонтову, судьбам поэтов и поэзии. Поэтическая речь Ахмадулиной органично сочетает возвышенность и простоту, архаику и современность, артистизм и безыскусность.

Белла Ахмадулина — почетный член Американской академии искусств и литературы.

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород,—
так невелик и все-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,
и кто-то — мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,
враспloh нас наблюдала необъятность,
и наших недостойнств неприглядность
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских деревьев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу

узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: — Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спина и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невинный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актер,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли? — вот и все, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —
как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!
Еще не все: — Так заходите завтра! —
О тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

1962

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —
подумать и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.

О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: — Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплавав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятий Богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому замечен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лета два часа.
И принимаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пусть же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем знать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой художью,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздыхнув во сне легко и сокровенно.

И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

1963

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Все началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем все, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведения уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал ее, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но все же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страдания,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мироздания.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге пред прочею землею.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час — не больше, чем строка:
все тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

1967

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебная безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — Богово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки,—
клянусь убить Елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

Старухи будут их стращать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержат подольше.
Детенышей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининога смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.

60-е

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казенных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отравы?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплатится со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

1967

* * *

Памяти О. Мандельштама

В том времени, где и злодей —
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.

Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.

Та — Бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни верст любви нечеткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен челкой.

Но век желает пировать!
Измученный, он ждет предлога —

и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.

Знал и сказал, что будет знак
и век падет ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершенной речи.

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь,
и меньшего усердия быта.

Ему — особенный почет,
двойное злорадство неба:
певец, снабженный кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам
любил пирожные». Я рада
узнать об этом. Но дышать —
не хочется, да и не надо.

Так, значит, пребывать творцом,
за спину заломивши руки,
и безымянным мертвецом
все ж недостаточно для муки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моем кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! И я его кормлю
огромной сладостью! И плачу!

1967

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочесть известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
отгиснутую без помарок,
и этот лоб, и челку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами: как угодно!
И выведет: Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова» — и капнет точку.

1973

* * *

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела,—
нарушение черты и предела
и востока незваная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья,
я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом,
то ли голосом чьим-то, то ль звоном

излученным звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая иль ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

70-е

* * *

В. Высоцкому

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.
Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной.
Так — быть? Или — как? Что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страдания.
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
кто подданных душу возвысит до слез, до рыдания.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.
Певца обожая, расплачемся. Доблестна тризна.
Ведь быть иль не быть — вот вопрос. Как мне быть?
Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим — все дальше, все выше и чище.

Не скарედны мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

1980

СМЕРТЬ СОВЫ

Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза.
При этом — зла. При этом... Боже мой,
кем и за что наведена проказа
на этот лик, на этот край глухой?

С получки загуляют Нинка с братом —
подробности я удержу в уме.
Брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым:
отец был строг, век вековал в тюрьме.

Теперь он, слышно, старичок степенный —
да не пускают дети на порог.
И то сказать: наш километр — сто первый.
Злодеи мы. Нас не жалеет Бог.

Вот не с получки было. В сени к Нинке
сова внеслась. — Ты не коси, а вдарь!
Ведром ее! Ей — смерть, а нам — поминки.
На чучело художник купит тварь.

И он купил. Я относилa книгу
художнику и у его дверей
посторонилась, пропуская Нинку,
и, как всегда, потупилась при ней.

Не потому, что уродились розно, —
наоборот, у нас судьба одна.
Мне в жалостных чертах ее уродства
видна моя погибель и вина.

Вошла. Безумье вспомнило: когда-то
мне этих глаз являлась нагота.
В два нежных, в два безвыходных агата
смерть Божества смотрела — но куда?

Умеет так, без направленья взгляда,
звезда смотреть иль то, что ей сродни,
то, старшее, чему уже не надо
гадать: в чем смысл? — отверстых тайн среди.

Какой ценою ни искупим — вряд ли
простит нас тот, кто нарядил сову
в дрожь карих радуг, в позолоту ряби,
в беспомощную белизну свою.

Очнулась я. Чтобы столиц приветы
достигли нас, транзистор поднял крик.
Зловещих лиц пригожие портреты
повсюду улыбались вкось и вкривь.

Успела я сказать пред расставаньем
художнику: — Прощайте, милый мэтр.
Но как вы здесь? Вам, с вашим рисованьем, —
поблажка наш сто первый километр.

Взамен зари — незнаемого цвета
знак розовый помедлил и погас,
словно вопрос, который ждал ответа,
но не дождался и покинул нас.

Жива ль звезда, я думала, что длится
передо мною и вокруг меня?
Или она, как доблестная птица,
умеет быть прекрасна и мертва?

Смерть: сени, двух уродов перебранка —
но невредимы и горды черты.
Брезгливости посмертная осанка —
последний труд и подвиг красоты.

В ночи трудился сотворитель чучел.
К нему с усмешкой придвигался ад.
Вопль возносился: то крушил и мучил
сестру кривую синегорбый брат.

То мыслью занимаюсь я, то ленью.
Не время ль съехать в прежний неуют?
Все медлю я. Все этот край жалею.
Все кажется, что здесь меня убьют.

1982

* * *

Александру Блоку

Бессмертьем душу обольщая,
все остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,
вдохнувшая морская близь,
и грезит о герое главным
собрание действующих лиц.

Поймем ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежеть?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облек.

Все сказано — и все сокрыто.
Совсем прозрачно — и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом, —
тайник, запретный для открытья,
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоен?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь поймем.

Все прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслие зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,
где все — надрыв и все — навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь муку:
не петь, — поющий не учел.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятья,
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Все приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок.

Одно такое у природы
лицо. И остается нам
смотреть, как белой ночи розы
все падают к его ногам.

1984

* * *

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
Это только снаружи больница скушна, непреклонна,
а внутри — очень много событий, занятий и чувств.
И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног
вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
санитар побежал за напарником, бросив каталку.

Столь один — он, пожалуй, еще никогда не бывал.
Сочиняй, починай — все сбиваемся в робкую стаю.
Даже холодный подвал, где он в этой ночи ночевал,
кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
Соучастье любви на мгновение сгустилось над ним.
Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
За оградой — не знаю, а здесь нездоровый упадок
атеизма замечен. Всем хочется над потолком
вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две не равных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты небось походил по Расее.
Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твое это, брат, воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
«Дево, радуйся!» Я — не умею припомнить акафист.

Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.

1984

ЕЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили елку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушенья порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но все же — канун Рождества.
Завтра кто-то дождется известий, гостинцев, свиданий.
Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны, так несть им числа,
что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где елка — причина для слез
(не хотели ее, да сестра заносить повелела),
сердце бьется и слушает, и — раздалось, донеслось:
— Эй, очнитесь! Взгляните — восходит звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов и неопытной матери локоть,
упавший младенец с отметиной чудной во лбу.
Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи мимолетность.

Этой плоти больной, извращенной трудом и войной,
что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?
Но — корят то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
капель был и блестел, как бессмысленный черный
фонарик —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на елке названивал крошка-звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет — был меньше, чем розовый: родом из робких,
не резких.

Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать —
вдоль метели пронесся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: — Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый,
огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слез и любви.
— Вам не надо ль чего-нибудь? — Нет, ничего нам
не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В день рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!

1985

* * *

Лапландских летних льдов недалённая граница.
Хлад Ладоги глубок, и плавлен ход лады.
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?
Брезгливо серебро к затратам золотым.
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.
(Латунни не нашлось, так сыщется латынь).

Приладились слова к Приладожскому ладу.
(Вкруг лада — все мое, Брокгауз и Ефрон).
Ум — гения черта, но он вредит таланту:
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврет.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,
ютятся бедный дар и пробует сказать,
что он не позабыл Ладыжинских черемух
в пред-Ладожской стране, в над-Ладожских скалах.

Лещинный мой овраг, разлзатанный, ледащий,
мною обольщен и мною приважен к похвалам.
Валунный водолей, над Ладогой летящий,
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным
мой помысел ночной добыт и растворен
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник, —
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке
присутствие судьбы и дерева в окне.
Средь схемы световой — такая сила схимы
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.
В окладе хладных вод сияет день молодой.
Меж утомленных век смешались полночь, полдень,
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

1985

* * *

Где Питкяранта? Житель Питкярантский
собрался в путь. Автобус дребезжит.
Мой тайный глаз, живущий под корягой,
автобуса оглядывает жизнь.

Пока стоим. Не поспешает к цели
сквозной приют скитальцев и сирот.

И силуэт старинной финской церкви
в проеме арки скорбно предстает.

Грейпфрут — добыча многих. Продавала
торговли придурь неуместный плод.
Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!
Нюх отворен и пришлый запах пьет.

Всех обликов так скудно выражение,
так загнан взгляд и неказиста стать,
словно они эпоху Возрожденья
должны опровергать и попирасть.

В дверь впопыхах три девушки скакнули,
Две первые пригожи, хоть грубы.
Содеяли уроки физкультуры
их наливные руки, плечи, лбы.

Но простодушна их живая юность,
добротна плоть, и дело лишь за тем
(он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость
примерит к зову их дремотных тел.

Но я о той, о третьей их подруге.
Она бледна, расплывчато полна,
пьяна, но четко обнимают руки
припасы бедной снеди и вина.

Совсем пьяна, и сонно и безгрешно
пустует глаз, безвольно голубой,
бесцветье прядей Ладоге прибрежно,
бесправье черт простерто пред судьбой.

Поехали! И свалки мимолетность
пронзает вдруг единством и родством:
котомки, тетки, дети, чей-то локоть —
спасемся ль, коль друг в друга прорастем?

Гремим и едем. Хвойными рядами
обведено сверканье воды.

На всех балконах — рыбьих душ гирлянды.
Фиалки скал издалека видны.

Проносится роскошный дух грейпфрута,
словно гуляка, что тряхнул мощной.
Я озираю, мучась и ревнуя,
сокровища черемухи сплошной.

Но что мне в этой, бледно-белой, блеклой,
с кулками и бутылками в руках?
Взор, слабоумно-чистый и далекий,
оставит грамотея в дураках.

Ее толкают: — Танька! — дремлет Танька,
но сумку держит цепкостью зверька.
Блаженной, древней исподволи тайна
расширила бессмыслицу зрачка.

Должно быть, снимок есть на этажерке:
в огромной кофте Танька лет пяти.
Готовность к жалкой и неясной жертве
в чертах приметна и сбылась почти.

Да, этажерка с розаном, каморка.
В таких стенах роль сумки велика.
Брезгливого и жуткого кого-то
в свой час хмельной и Танька завлекла.

Подружек ждет обнимка танцплощадки,
особый смех, прищуриванье глаз.
Они уйдут. А Таньке нет пощады.
Пусть мается — знать, в мае родилась.

С утра не сыщется маковой росинки.
Окурки, стужа, лютая кровать.
Как размыкать ей белые ресницы?
Как миг снести и век провековать?

Мне — выходить. Навек я Таньку брошу.
Но все она стоит передо мной.

С особенной тоской я вижу брошку:
юродивый цветочек жестяной.

1985

ПОБЕРЕЖЬЕ

Не грех ли на залив сменять
дом колченогий, пусторукий,
о том, что есть, не вспоминать,
иль вспоминать с тоской и мукой.

Руинам предпочесть родным
чужого бытия обломки
и городских окраин дым
вдали — принять за весть о Блоке.

Мысль непрестанная о нем
больному Блоку не поможет,
и тот обещанный лимон
здоровье чье-то в чай положит.

Но был так сильно, будто есть
день упоенья, день надежды.
День притаился где-то здесь,
на этом берегу, — но где же?

Не тяжек грех — тот день искать
в камнях и песках рассвета.
Но не бесчувственна ли мать,
избравшая занятие это?

Упрочить сердце, и детей
подкинуть обветшалою детской,
и ослабеть для слез о тех,
чье детство — крайность благоденствий.

Услышат все и не поймут
намек судьбы, беды предвестье.
Ум, возведенный в абсолют,
не грамотен в аз, буки, ведеи.

Но дом так чудно островерх!
Канун каникул и варенья,
день ангела и фейерверк,
том золоченый Жюля Верна.

Все потерять, страдать, стареть —
все ж меньше, чем пролет дороги
из Петербурга в Сестрорецк,
Куоккалу и Териоки.

Недаром протяжен уют
блаженных этих остановок:
ведь дальше — если не убьют —
Ростов, Батум, Константинополь.

И дальше — осенит крестом
скупым святая Женевьева.
Пусть так. Но будет лишь потом
все то, что долго, что мгновенно.

Сначала — дама, господин,
приникли кружева к фланели.
Все в мире бренно — но не сын,
вверх-вниз гоняющий качели.

Не всякий под крестом, кто юн
иль молод, мертв и опозорен.
Но обруч так летит вдоль дюн,
июнь, и небосвод двузорен.

И господин и дама — тот
имеют облик, чье решение —
труды истории, итог,
триумф ее и завершение.

А как же сын? Не надо знать.
Вверх-вниз летят его качели,
и юная бледнеет мать,
и никнут кружева к фланели.

В Крыму, похожий на него,
как горд, как мертв герой поручик.

Нет, он — дитя. Под рождество
какие он дары получит!

А чудно островерхий дом?
Ведь в нем как будто учреждение?
Да нет! Там елка под замком.
О ты, чье празднуют рожденье,

ты милосерд, открой же дверь!
К серьгам, браслетам и оковам
привыкла ли турчанка-ель?
И где это — под Перекопом?

Забудь! Своих детей жалей
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллеи,
за бедность их безбожных елок,

за не-язык, за не-латынь,
за то, что сырый ум — бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебя больнее.

Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взирая на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.

Что пользы днем с огнем искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную — и доле.

1985

* * *

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет,
но воздуха и вод удвоен гласный звук,

как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, неродственный канонам
всех горл: он одинок единогласья средь,
он плоской высоте приходится каньоном
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.
(Как грубо молода в ту пору я была.)
Из перьев синих птиц, чья вотчина — эпоха
былая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
уныньем горловым — понять я не могла.
Но сколько лет прошло! Когда боа поблекло,
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
Акцент долгот присущ волнам и валунам.
Аа — таков ответ незримых колоколен.
То — эхо возвратил недалний Валаам.

1985

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Бориса Пастернака	3
Симону Чиковани	6
Биографическая справка	8
Клянусь	10
Варфоломеевская ночь	11
«В том времени, где и злодей...»	13
Снимок	15
«Я завидую ей — молодой...»	16
«Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...»	17
Смерть совы	18
«Бессмертьем душу обольщая...»	20
«Воскресенье настало...»	22
Елка в больничном коридоре	23
«Лапландских летних льдов недалекая граница...»	24
«Где Питкяранта? Житель Питкярантский...»	25
Побережье	28
«Ночь: белый сонм колонн надводных...»	30

АХМАДУЛИНА Белла Ахатовна

ПОБЕРЕЖЬЕ

Стихотворения

Редактор С. С. Лесневский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 25.07.91. Подписано к печати 27.08.91. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40.
Усл. кр.-отт. 1,58. Уч.-изд. л. 1,40. Тираж 81000 экз. Зак. № 760. Цена 15 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;
П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»;
Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами»;
Б. СЛУЦКИЙ «О других и о себе».